

Пильский Петр. Душа Чехова // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1939. 11 ноября. № 9775. С. 2-3.

ДУША ЧЕХОВА

Чехов — прекрасный писатель, но это был еще и редкий человек. И в литературе и в жизни он поражает своей самостоятельностью, независимостью и оригинальностью, облагороженной умом и простой. В своей беллетристике, как и в драматургии, Чехов дал нам совершенно новые приемы, осветил по-новому жизнь, природу, людей, преобразил художественную манеру Тургенева и Толстого, став их прямым наследником, продолжателем, усовершенствователем их избрательного литературного искусства. Это хорошо понимал и сам Толстой, советуя Марксу издать Чехова.

— После Тургенева и Гончарова, — признал Толстой, — ему, ведь, ничего не остается, как издать Чехова и меня.

В русской беллетристике чеховские влияния неискоренимы, как навсегда будет записана в русскую литературную историю заслуга Чехова перед маленьким рассказом. Он, первый, заставил уважать и ценить миниатюру, отвоевал для нее почетное, а не случайное место в журналах и книжных издательствах на читательских и библиотечных полках. В обычно шутовском тоне он писал об этом А. С. Суворину: «Газетные беллетристы второго и третьего сорта должны возмущать меня на мятник, или, по крайней мере, поднести серебряный портсигар: я проложил для них дорогу в толстые журналы, к лабрам и к сердцам порядочных людей». То же повторяет он и А. С. Лазареву Грузинскому: «Я счастлив, что указал путь многим к толстым журналам». И всегда к этим шутовским, то серьезным словам Чехов прибавлял: «Это — моя единственная заслуга».

Он был поразительно скромным. Чья голова не закружилась бы от таких молодых успехов, какие выпали на долю Чехова! Сотрудник «Будильника» становится желанным гостем «Русской Мысли», «Северного Вестника». Фельетонист «Петербургской Газеты», на 28 году жизни, получает Пушкинскую премию. Начинающий автор обласкан Григоровичем, написавшим ему самое лестное письмо, пророчащее завидную литературную будущность. Но ни один из этих щедрых подарков судьбы не сделал Чехова ни высокомерным, ни требовательным, ни закрыл ему глаза на собственные недостатки.

«Все, что я написал и за что мне дали премию, — говорит он в письме к Суворину, — не проживет и 10 лет в памяти людей». В другом письме: «Все мною написанное забудется через 5-10 лет». В душу закрадывались самые тяжелые подозрения: «Делом я занимаюсь или пустяками? Критика молчит, публика врет, а чувство мне говорит, что я занимаюсь вздором». Отрицательно и несправедливо Чехов относился и к своему литературному мастерству: «Еле справляюсь с техникой. Слаб еще по этой части и чувствую, что делаю массу грубых ошибок».

Есть скромность и скромность. И она может быть и заискивающей и мужественной и дрожащей и уверенной. Бывает скромность — бессилие и скромность сила. Чехов нес в своей душе настоящую мужественность.

При всем своем лиризме и сердечной мягкости, Чехов отличался большой внутренней силой. В своих убеждениях он был тверд и непоколебим. Все, что Чехов получил от жизни и славы, пришло к нему, как награда только за талант и его литературные заслуги. Свое искусство Чехов никогда не пригибал ни в чью угодку, не заискивал перед авторитетами, не склонялся перед политическими формулами, не применялся ни к одному направлению. И в литературе, и в жизни он был господином своих дел, единственным ответчиком за свое поведение, совсем не признавал литературного и журнального местничества и ни в чем ни разу не отдал предпочтения «толстым» журналам перед еженедельниками и газетами.

«Не все ли равно, — писал он Я. П. Полонскому, — поет ли соловей на большом дереве или на кусте?» На требование работать только в «солидных» ежемесячниках он смотрел, как на предразсудок, считал это выражением желчи, чиноугодничества, видел в этом большой вред, находил это глупым и смешным. В сознании своей духовной свободы, никому не подчиняющийся, он заявлял: «Когда я напишу большую вещь, пошлю в толстый журнал, а маленькие буду печатать там, куда занесут ветер и моя свобода». То же самое он говорил и Плещееву, а Плещеев тогда был одним из редакторов «Северного Вестника». Без всяких смягчающих слов, твердо и спокойно Чехов писал ему: «Во всех наших толстых журналах царит кружковая, партийная скука. Душно... Партийность, особенно если она бездарна и суха, не любит широкого размаха».

28-летнему Чехову прислал письмо Ник. Михайловский, известный критик, а тогда и общепризнанный авторитет. Оно носило увещательный

характер. В нем Ник. Михайловский называл Чехова большим талантом, огромной силой, человеком, которому «много от Бога дано», отмечал чеховскую неискоренимость и только укорял за сотрудничество в «Новом Времени», «Осколках» и пр. Чехов ответил. Возражая Михайловскому, он твердо заявил, что «не чувствует никакой антипатии к «Новому Времени», но если бы и чувствовал, не затруднился бы печататься там потому что слишком многим обязан Суворину». Вновь Михайловский обратился к Чехову с письмом: приблизительно те же мотивы звучали в угрозах других литераторов и редакторов, но Чехов не вынул ни одному из этих увещаний, и, как был, так и остался в дружественной переписке с самим Сувориным и постоянным сотрудником «Нового Времени».

Это продолжалось до тех пор пока Чехов сам не оттолкнулся от этой газеты и ее издателя. Размирение произошло во время знаменитого процесса Дрейфуса. Раз почувствовав несправедливость, оскорбленный фальшью, разойдясь душевно, Чехов не знал компромиссов, не допускал оговорок, и в феврале 1898 года Суворин получил от Чехова письмо, явно говорящее о разрыве. Как на был обязан этому человеку Чехов, он не захотел простить Суворину его греха против писательского долга, против первой заповеди писательской совести. «Пусть Дрейфус виноват, — объяснял Чехов в этом письме, — и Зола все таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они осуждены и несут наказание». Тут дования: «Старость его (Зола) будет хорошей старостью же у Чехова вырывается фраза едва сдерживаемого него и умрет он с покойной, или,

по крайней мере облегченной совестью.

Впоследствии М. М. Ковалевский говорил, что Чехову все таки удалось повлиять на Суворина, он отказался от своих прежних обвинений Дрейфуса, но газета «Новое Время» так и осталась на старой позиции. И Чехов писал брату, «что в деле Зола «Новое Время» вело себя просто гнусно». Это — не случайность, не единичный или мимолетный порыв, — это — характерное выражение чеховского понимания своего литературного и общественного долга, своей личной свободы, независимости своих суждений, своих отношений к людям, своего житейского и писательского поведения.

Всю жизнь он остался врагом лжи, лукавства, фальши даже тогда, когда они проявлялись в чисто официальных давно установленных формах. Совершенно не выносил банкетов, торжественных ужинов, юбилейных празднеств, публичных чествований. От участия в них Чехова оберегал еще и его юмор. Эти празднества представлялись ему смешными в своей банальной и лживой торжественности. Казалось бы можно было сделать исключение для Григоровича, старого писателя, ставившего себе в заслугу «открытие Чехова». Один из его приездов в Москву совпал с канунными днями юбилея Григоровича. Конечно, все рассчитывали на присутствие Антона Павловича: он должен был стать «украшением филантропического чествования», устраивавшегося издателем «Русской Мысли» В. М. Лавровым. Сейчас нельзя без улыбки, но и без глубокого уважения читать воспоминания И. Потапенки о том, как Антон Павлович сразу впадал в «мрачность» так, что «с ним нельзя было говорить». Но потом к нему вернулся его обычный юмор, «он от времени до времени прерывал свое мо-

чтение отрывочными фразами из какой то неведомой по видимому речи: — «Глубокоуважаемый и досточтимый писатель... Мы собрались здесь тесной семьей... Затем, после молчания, опять: «Наша дружная писательская семья, в вашем лице, глубокочтимый...»

— «Что это ты? — спросил Потапенко.

— А это я из твоей речи, которую ты скажешь на обеде в честь Григоровича.

— Почему же из моей? Ты бы лучше из своей что нибудь.

— Так я же завтра уезжаю.

И действительно, за два дня до юбилейного обеда, когда из Петербурга была получена телеграмма, что юбиляр приедет, Антон Павлович уложил свои дорожные вещи и уехал в деревню. Чествование состоялось без Чехова, а через несколько дней после этого торжества он писал Суворину: «Те, которые давали обед приезжавшему Григоровичу, говорят теперь, как мы мы гледи на этом обеде, и как много он (Григорович) лгал». Точно также Чехов относился и к своему собственному чествованию на сцене Московского Художественного Театра, так и не сдержав улыбки в самом начале обращенной к нему приветственной речи.

Все напускное было ему чуждо, неприятно, действовало на него отталкивающее, как лицемерие и ложь. Для него непростителен был даже дам «возвышающий обман». Враг шаблона, общих мест, затвержденных формул, трафаретных суждений, он не мог примириться ни с деспотизмом, — в какой бы форме он не проявлялся, — ни с покушением на личную свободу и самостоятельность человека. «Фарисейство и произвол, — говорил Чехов, — царят не только в купеческих домах и кутузках, и их приходится встречать и в литера-

туре и даже среди молодежи».

Ни одно из модных направлений не захватило его сердца, не овладело его умом, не обмануло его наблюдательности и чуткости, не подкупило его совести. Только такой независимый человек мог написать повесть «Мужики», не страшась упреков в клевете на русский народ, на нашего «спасителя», «богоносца», «мудреца», носителя истины, целителя от всех политических бед и исторических несчастий.

Между прочим, Чехова хотели забаллотировать в «Союзе Писателей» именно за сгущение красок, будто бы допущенное в этой повести. Но не Чехова можно было испугать или разубедить. Его вера, его убеждения были всегда крепки. Даже восторженно любимый им Толстой ничего не изменил в душе Чехова. Толстовская мораль скоро перестала меня трогать. К общему преклонению перед мужиком Чехов относился так же, как ко всякой выдуманной, блаженной неправде, и наподличество для него было чуждо, как мундир, и отталкивало своим деспотическим шаблоном. В этом отношении для него были одинаково чужды и ему далеки и Толстой и Златовратский. Для слепого

идейного повинования Чехов был слишком умен и потому непокорен; чтобы верить на слово, ему не хватало лени; для того чтобы стать в ряды чуждых чудак, Чехов не хотел делаться в своей душе заблуждений, как бы красивы они не были.

Удивительно — как могло случиться, что этот наблюдательный человек, наделенный таким ясным умом, так долго не замечал, что он хиреет, слабеет, кашляет, быстро утомляется? Как произошло, чем объяснить, что этот врач, при выхитренном бесстрашии смотреть на чужие недуги, как на свои, мог так долго не понимать, что сам он носит в себе один из самых страшных недугов? Уже когда все стало непоправимо, болезнь оказалась застарелой и пропущены были все сроки, только тогда, после особенно обильного легочного кровотечения, Чехов спохватился и у него вырвалось:

— Как это я мог допустить до этого!

Впрочем, Чехов никогда не думал о смерти, не любил говорить о ней, ни в чем, нигде не проявил и страха перед ней. Это подтверждают и его последние минуты. Полное сознание происходящего, ясность всепонимающего ума не затуманились и перед самой смертью. О. Л. Книппер-Чехова положила ему на грудь мешок со льдом. Чехов сказал:

— На пустое сердце льда не кладут.

Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как то значительно и громко произнес:

— Я умираю...

Трогательная подробность: Чехов носил брелок с надписью:

«Одиному весь мир — пустыня».

Петр Пильский